

Исследования в области политики памяти: возможен ли феноменологический взгляд?*

*Моисеенко Я. Ю., мл. науч. сотр.,
ИФиП УрО РАН, Екатеринбург*

Ключевые слова: политика памяти, символическая политика, методы исследования, нарративы, дискурсивный подход, структурно-функциональный подход, феноменология

В докладе рассматриваются теоретические основания современных исследований в области политики памяти, особое внимание уделяется нарративному повороту как источнику становления всей дисциплины *memory studies*. Проводится сравнительный анализ основных подходов к соотношению «политики памяти» и «символической политики», иерархия данных понятий выстраивается с точки зрения как дискурсивного, так и структурно-функционального метода. Представленная двойственная оптика дополняется третьим взглядом на предметное поле исследований в области политики памяти – феноменологическим подходом. В докладе кратко раскрываются основные реперные точки, вокруг которых перспективно развернуть исследование феноменологического характера.

Studying the politics of memory: is a phenomenological perspective possible?

*Moiseenko Y. Yu., junior researcher,
IPAL UB RAS, Ekaterinburg*

Keywords: politics of memory, symbolic politics, research methods, narratives, discursive approach, structural functionalism, phenomenology

* Доклад подготовлен в рамках выполнения работы по гранту РФФИ 21-011-43023 «СССР. Официальный дискурс российской политики памяти о советском прошлом: стратегии интерпретаций, акторы, коммеморативные практики». The research was funded by RFBR according to the project № 21-011-43023 «The official discourse of Russian politics of memory concerning the Soviet past: interpretation strategies, actors and commemorative practices».

The report discusses the theoretical background of any contemporary research concerning the politics of memory, with the narrative turn in memory studies being brought to the particular attention. A comparative analysis is carried out to distinguish between two approaches relating "politics of memory" and "symbolic politics". The hierarchy of these concepts is outlined with regards to both discursive method and structural-functionalism, complemented by a third perspective being a phenomenological approach. The report briefly reveals the main phenomenological points of reference in studying the politics of memory which are promising to develop a further academic inquiry.

Наблюдая за тем, как развивались гуманитарные дисциплины во второй половине XX века, можно оценить, насколько серьезное влияние оказали на формирование их предметного поля те многочисленные пертурбации, которые претерпевала философская парадигма на закате модерна. Вписываясь в очередные «повороты» в своей истории, философия не раз переосмысляла собственные основания, то в структуралистском [1], то в дискурсивном [2], то в т. н. «мобильном» ключе [3], но последствия этих интеллектуальных операций для отдельных дисциплин давали знать о себе, как правило, спустя десятилетия – уже в XXI веке. Такого рода «эхом» фундаментальных событий ушедшего столетия можно считать и становление дисциплины «исследования памяти», традиционно именуемой в русскоязычном научном дискурсе как *memory studies* – следуя англоязычной традиции. Есть основания полагать, что корни этой дисциплины происходят из наследия, оставленного нам постструктуралистами и постмодернистами, изыскания которых разворачивались вокруг чтения реальности как своего рода «текста», или, другими словами, «текстуализации реальности» [4, с. 209].

Возможно выделить как минимум два момента, что наводят на мысль о такого рода преемственности. Первый момент может показаться несколько частным, поскольку связан с одной из основополагающих для дисциплины *memory studies* книгой Р. Тердимана «Настоящее прошлое: Модерн и Кризис Памяти» (англ.: *Present Past: Modernity and the Memory Crisis*) [5]. В этой работе американский историк философии анализирует, как менялись представления о памяти при переходе от общества премодерна к современному обществу, в частности, как расслаивалась граница между «настоящим» и «прошлым» при появлении соответствующего инструментария, способного архивировать и воспроизводить прошедшие моменты. Тем не менее ключевой составляющей размытия этой границы Тер-

диман называл не фотографию, звукозапись или кинематограф как таковые, но рассказ о прошлом, часто представленный в форме литературного нарратива (в частности, в книге Тердимана подробно анализируется концепции времени и памяти, изложенные в *opus magnum* Марселя Пруста «В поисках утраченного времени») [5].

Во-вторых, если исходить из определения того, чем предметно занимаются *memory studies* в академическом ключе, то мы увидим, что дискурс этой дисциплины так или иначе разворачивается вокруг актуализации прошлого в коллективной памяти того или иного социума [5]. Другими словами, в данном формате исследователь апеллирует к некому «коллективному другому», который отсутствует как факт объективной реальности, но его призрачное «присутствие» в дне сегодняшнем можно обнаружить как в документах, фиксирующих исторически значимые события прошлого, так и в материальных артефактах: памятниках, монетах, реликвиях. Интерпретация этих архивных данных позволяет воссоздать разнородные дискурсы прошлого, основываясь на текстуальном материале, и сконструировать из них тот или иной нарратив, зачастую несколько нарративов о прошлом, которые могут как дополнять, так и противоречить друг другу. Очевидно, что в общих чертах данный подход отсылает исследователя к принципам, заложенным Р. Бартом как в его концепции о «смерти автора», так и об интегральной сущности текста («письмо существует здесь и сейчас», поскольку не может транслировать ничего из того, что наличествовало бы до акта письма) [6]. Точно так же можно проследить здесь и влияние подхода М. Фуко с его «Археологией знания», поскольку *memory studies* как раз иллюстрируют борьбу за власть в дискурсивном пространстве интерпретации значимых событий прошлого. Государственная монополия на знание здесь способна объективизировать один из конкурирующих нарративов и превратить его из нарратива в «единственно верную реальность» [2].

Как только дисциплина *memory studies* выходит на эту политическую составляющую, в ней сразу же возникает дополнительное измерение, отражающее процессы формирования и управления коллективной памятью о прошлом в угоду некой повестке настоящего. Таким образом, заходит речь об исследованиях государственной («официальной») политики памяти (англ.: *the official politics of memory studies*), где ключевыми вопросами являются установление способов организации информации о коллективном прошлом; определение смыслов, которые транслируют властные институты, а также целей и задач, которые они перед собой ставят. Согласно американскому политологу М. Эдельману [7], системообразующими

ми компонентами для вышеперечисленных процессов являются символы, которые он понимал специфическим образом: как способы канализировать разрозненные потоки информации в некое осмысленное русло [7], в нем же пересекаются интересы власть имущих и запросы общества.

Таким образом, неудивительно, что в фокус внимания исследователей по всему миру часто попадает символическая нагрузка тех или иных действий, проводимых мнемоническим актором. Если речь идет об официальном дискурсе, то актором выступает само государство или его представители – ассоциированные с ним научные, исследовательские центры [8]. В отечественной научной дискуссии, например, сталкиваются несколько трактовок, как следует выстраивать иерархию используемого понятийно-категориального аппарата: позиции разнятся по вопросу соотношении понятий «символическая политика» (англ.: *symbolic politics*) и «политика памяти» (англ.: *politics of memory*).

По меньшей мере, можно привести две противоположные точки зрения относительно данного дуэта понятий. Такой крупный российский исследователь в области политического дискурс-анализа и политических коммуникаций, как О. Ю. Малинова во введении к сборнику научных статей «Символические аспекты памяти в современной России и Восточной Европе» выстроила иерархию в дискурсивном ключе, а именно, «политика памяти» оказалась более узким понятием по отношению ко всеобъемлющей «символической политике». В данной конструкции символические дискурсы воспроизводят разнообразные способы интерпретации реальности, которые проходят инстанции легитимации, в том числе общественные дебаты, и в конечном итоге формируют актуальную политику памяти [9, с. 15]. В этом ключе Малинова видит в конкретных методах исследования политики памяти (исследования нарративов, музейных и других коммеморативных практик, в том числе исторических реконструкций), прежде всего, исследовательский инструментарий символической политики – т. е. они нацелены на изучение совокупности публичных взаимодействий, столкновения дискурсов в борьбе за гегемонию в области интерпретации значимых событий прошлого [9].

Возражение такому подходу к понимаю категориального аппарата готова представить плеяда отечественных исследователей (О. Ф. Русакова, В. М. Русаков, Е. Г. Грибовод, Д. М. Ковба и др.), которые анализируют дуализм понятий «символическая политика» и «политика памяти» с позиций структурного функционализма. Потому в качестве точки отсчета любого исследования под эгидой

memory studies они выбирают именно «политику памяти», понимая ее как «систему государственного управления коллективными представлениями о прошлом» [10, с. 160]. «Политика памяти», в свою очередь, имеет зонтичную, разветвленную структуру, которая включает в себя в том числе не только элементы символической политики, но и социально-гуманитарные ресурсы и технологии (для характеристики которых авторами было введено понятия совокупной «инфраструктуры памяти» [10, с. 160]). К функционалу «политики памяти» они относят конструирование политически значимых смыслов, образов, мифов, нарративов и пр., которые необходимо поддерживать в массовом сознании, конечной целью всего этого видится формирование национальной идентичности и укрепление легитимности институтов власти [10, с. 161].

Как следует из сравнения двух представленных подходов, диспозиция предметных полей «символической политики» и «политики памяти» зависит от выбранной изначально стартовой точки, потому не следует характеризовать их как противоречащие или тем более взаимоисключающие. Дебаты внутри memory studies органично дополняет еще одна оптика – феноменологическая, поскольку в нарративном, дискурсивном и структурно-функциональном подходах к исследованию политики памяти уже были заложены моменты, которые возможно использовать в качестве реперных точек для развертывания такого прочтения. Попробуем кратко изложить перспективы применения феноменологических принципов в логике развития предметного поля дисциплины memory studies.

Во-первых, как бы мы ни располагали символическую политику и политику памяти относительно друг друга, мы все равно имеем дело с соотношением некой «символической» стороны политического процесса и «реальной» его стороны, пусть даже эта проблематика не артикулирована явным образом. Одним из принципиальных вопросов феноменологии, по крайней мере в той ее версии, которая была изложена М. Хайдеггером во введении к своему основополагающему труду «Бытие и время» [11], является разграничение между собственно подлинным феноменом (англ.: *phenomenon*) и явлением этого феномена (англ.: *appearance*). Будучи рассмотренной с этой точки зрения, символическая политика может быть воспринята не как противоположность «реальной политики» или как ее некая составляющая, но как ее «суррогат», т. е. «явление» в феноменологическом смысле неких скрытых за ней намерений власть имущих. В этом отношении работы французского социолога-структуралиста П. Бурдьё о «символической власти» и «символическом капитале»

могут быть ориентиром для того, кто заинтересован в феноменологическом прочтении проблематики политики памяти [12]. Кроме того, его революционная идея о том, что символическая политика детерминирована не только интересами групп, но и самим «пространством», в котором транслируются дискурсы, может быть связана с принципиальным для той же хайдеггеровской традиции пониманием бытия как «бытия-в-мире» (англ.: being-in-the-world), в котором пространственный компонент не просто является неотъемлемым элементом, но и само понимание «мира» («пространства») сопряжено с его особой структурой – «мирностью» (англ.: the world hood), которая позволяет нам самим находиться «в мире», обнаруживать в нем «других» и выстраивать с ними взаимоотношения [11].

Во-вторых, что бы мы ни говорили о «призрачном присутствии» прошлого в настоящем времени, наше непосредственное присутствие в какой бы то ни было ситуации прошлого едва ли возможно. Однако у нас остается опция «приведения прошлого в присутствие» [7, с. 120] через исторический нарратив, т. е. через коммуникативное взаимодействие, опосредованное повествованием. Ведение же самого нарратива о прошлом становится возможным благодаря методу «возвратного вопрошания», описанного феноменологом и герменевтом П. Рикёром. «Возвратное вопрошание» заключается в обратном (т. е. рекурсивном) ходе мысли от репрезентации какого-то явления к его бытийным основаниям, под которыми понимаются возможности для осуществления этой репрезентации [13]. «Вопрощая» в таком ключе, т. е. фокусируясь на условиях, благодаря которым прошлое было возможно, мы осуществляем феноменологическую деконструкцию прошлого, обнаруживаем «онтологически укорененные структуры». Таким образом, здесь мы не противопоставляем реальность мира прошлого и его символические репрезентации в настоящем времени, мы отсылаем к «онтологическому порядку мироустройства, внутри которого есть и выполняются условия того, как вообще мир может быть исходно понят человеком и лишь postfactum объяснен в терминах дискурса» [14, с. 164].

Наконец, в-третьих, имеет смысл вспомнить об еще одной категории, принципиальной для исследований коллективной памяти наряду с «символической политикой» и «политикой памяти» – «использовании прошлого в политических целях». Структурно-функциональный подход в своей классической для многих гуманитарных дисциплин ипостаси напрямую выделяет эту технологическую составляющую в отдельную категорию исследования, но при этом оценочные суждения в рамках этого подхода зачастую остаются

нейтральными [15]. Нарративный и дискурсивный подходы выводят на поляризованную в оценках проблематику «медиатизации политики» в целом и дискурсов пост-правды (англ.: post-truth) и пост-памяти (англ.: post-memogy) в частности, которые были взяты на вооружение многими современными элитами для продвижения нужной идеологии [15]. Вне зависимости от того, воспринимаем мы «использование прошлого в политических целях» как модуль политической технологии с одной стороны, или как эмоционально окрашенный прием, связанный с искажением фактов и целенаправленным саботажем рациональной аргументации в поддержку позиции, которую необходимо низвергнуть, с другой стороны, мы имеем возможность подойти к вопросу «о технологиях» с феноменологических позиций.

В том числе может иметь смысл прибегнуть к анализу повсеместной технологизации политики с упором на такое хайдеггеровское понятие, как «махинация» (нем.: Machenschaft) [16]. Будучи своего рода рефлексией по поводу ницшеанской всеобъемлющей «Воли к власти», Machenschaft как маниакальное стремление человека к «калькуляции, расчету и подчинению бытия» [16, с. 5–6] становится глобальным «технологическим обманом», который закрывает доступ человеку к бытию как к подлинному феномену, но оставляет на поверхности одни «явления», которыми можно манипулировать без оглядки на внутренние смыслы. Machenschaft разворачивается как крайне мейнстримовый нарратив, одновременно организующий и транслирующий в массы ту политическую повестку, ради которой власть имущие вообще прибегают к такому инструменту, как политика памяти.

Список источников

1. *Леви-Стросс К. Структурная антропология. Москва : АСТ : Астрель, 2011. 541 с.*
2. *Фуко М. Слова и Вещи. Археология гуманитарных наук. Санкт-Петербург : А-сэд. 1994. 408 с.*
3. *Cresswell T. On the Move: Mobility in the Modern Western World. Routledge. Taylor&FrancisGroup. 2011. 342 p.*
4. *Эльдарион А. А. Нарративный поворот в современной философии истории: проблемы и перспективы // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 3. Ч. 2. С. 209–212. URL: <https://www.gramota.net/materials/3/2017/3-2/55.html>.*

5. Terdiman R. *Present Past: Modernity and the Memory Crisis*. Cornell University Press. 1993. 389 p.

6. Барм Р. *Мифологии*. Москва : Академический проект. 2019. 351 с.

7. Edelman M. *Politics as Symbolic Action*. Chicago, Ill.: Markham, 1971. 188 p.

8. Пахалюк К. А. Коммеморация 100-летия Первой мировой войны в России: политическое измерение // *Символические аспекты политики памяти в современной России и Восточной Европе*. Санкт-Петербург : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2021. С. 81–107.

9. Малинова, О. Ю. Введение. Символическая политика и политика памяти / О. Ю. Малинова, А. И. Миллер // *Символические аспекты политики памяти в современной России и Восточной Европе*. Санкт-Петербург : Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. С. 7–37.

10. Русакова О. Ф. Дискурс политики памяти: исследования символических аспектов / О.Ф. Русакова, Е. Г. Грибовод, Я. Ю. Моисеенко // *Дискурс-Пи*. 2022. Т. 19, № 2. С. 154–171.

11. Heidegger M. *Being and Time*. Blackwell Publishers Ltd, 1962. 589 p.

12. Бурдые П. *Социология социального пространства*. Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. 288 с.

13. Рикёр П. *Время и рассказ: в 2-х т.* Санкт-Петербург : Университетская книга, 1998. Т. 1. *Интрига и исторический рассказ*. 313 с.

14. Сакутин В. А. *Феноменология одиночества: опыт рекурсивного постижения*. Владивосток : Дальнаука, 2002. 185 с.

15. Русакова О. Ф. Дискурс постправды как медиатехнология политики постпамяти. О. Ф. Русакова, В. М. Русаков // *Дискурс-Пи*. 2019. № 2 (35). С. 10–27.

16. Lagdameo J. T. *From Machenschaft to Ge-stell: Heidegger's Critique of Modernity* // *Filocracia*. 2014. № 1 (1). P. 1–23. URL: https://www.academia.edu/41718044/From_Machenschaft_to_Ge_stell_Heidegger_s_Critique_of_Modernity.

References

1. Levi-Stross K. *Strukturnaya antropologiya [Structural anthropology]*. Moscow, AST, Astrel', 2011, 541 p. (In Russ.).

2. Fuko M. *Slova I Veshchi. Arheologiya gumanitarnykh nauk [Words and Things. Archeology of the Humanities]*. St. Petersburg, A-cad, 1994, 408 p. (In Russ.).

3. Cresswell T. *On the Move: Mobility in the Modern Western World*. Routledge: Taylor & Francis Group, 2011, 342 p.

4. El'darion A. A. *Narrativnyj povорот v sovremennoj filosofii istorii: prob-*

lemyiperspektivy [Narrative turn in modern philosophy of history: problems and perspectives]. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie I yuridicheskie nauki, kul'turologiya I iskusstvovedenie. Voprosy teorii I praktiki*. Tambov, Gramota, 2017, no. 3, ch. 2, pp. 209–212. URL: <https://www.gramota.net/materials/3/2017/3-2/55.html>. (In Russ.).

5. Terdiman R. *Present Past: Modernity and the Memory Crisis*. CornellUniversityPress, 1993, 389 p.

6. Bart R. *Mifologii [Mythology]*. Moscow, Akademicheskij proekt, 2019, 351 p. (In Russ.).

7. Edelman M. *Politics as Symbolic Action*. Chicago, Ill., Markham, 1971, 188 p.

8. Pahalyuk K. A. *Kommemoraciya 100-letiya Pervojmirovojvojny v Rossii: politicheskoeizmerenie [Commemoration of the 100th Anniversary of World War I in Russia: Political Dimension]. Simvolicheskie aspekty politiki pamyati v sovremennoj Rossii I Vostochnoj Evrope*. St. Petersburg, Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2021, pp. 81–107. (In Russ.).

9. Malinova, O. YU., Miller A. I. *Vvedenie. Simvolicheskaya politika I politikap amyati [Introduction. Symbolic politics and the politics of memory]. Simvolicheskie aspekty politiki pamyati v sovremennoj Rossii I Vostochnoj Evrope*. St. Petersburg, Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2021, pp. 7–37. (In Russ.).

10. Rusakova O. F., Gribovod E. G., Moiseenko YA. YU. *Diskurs politiki pamyati: issledovaniya simvolicheskikh aspektov [The Discourse of the Politics of Memory: Studies in Symbolic Aspects]*. *Diskurs-Pi*, 2022, vol. 19, no. 2, pp. 154–171. (In Russ.).

11. Heidegger M. *Being and Time*. Blackwell Publishers Ltd, 1962, 589 p.

12. Burd'e P. *Sociologiya social'nogo prostranstva [Sociology of social space]*. St. Petersburg, Aletejya, 2007, 288 p. (In Russ.).

13. Rikyor P. *Vremya I rasskaz: v 2-h t. [Time and story: in 2 volumes]*. St. Petersburg, Universitetskaya kniga. 1998, vol. 1 *Intriga I istoricheskij rasskaz*, 313 p. (In Russ.).

14. Sakutin V. A. *Fenomenologiya odinochestva: opyt rekursivnogo postizheniya [The phenomenology of loneliness: the experience of recursive comprehension]*. Vladivostok, Dal'nauka, 2002, 185 p. (In Russ.).

15. Rusakova O. F., Rusakov V. M. *Diskurs postpravdy kak mediatekhnologiy apolitiki postpamyati [Post-truth discourse as a media technology of post-memory politics]*. <https://dx.doi.org/10.17506/dipi.2019.35.2.1027>. *Diskurs-Pi*, 2019, no. 2 (35), pp. 10–27. (In Russ.).

16. Lagdameo J. T. *From Machenschaft to Ge-stell: Heidegger's Critique of Modernity*. *Filocracia*, 2014, no. 1 (1), pp. 1–23. URL: https://www.academia.edu/41718044/From_Machenschaft_to_Ge_stell_Heidegger_s_Critique_of_Modernity.